Юные годы

Автор:
Николай Златовратский

Юные годы

Николай Николаевич Златовратский

Детские и юные годы. Воспоминания 1845-1864 гг. #3

Николай Николаевич Златовратский – один из выдающихся представителей литературного народничества, наиболее яркий художественный выразитель народнической романтики деревни.

Николай Николаевич Златовратский

Юные годы

I

«Освободительные» будни. – Неудачные приключения «свободного стана».

Наступил 61-й год – год «великой исторической эры»… Характерно, однако, то, что, несмотря на напряженное состояние, которое переживали в течение нескольких лет окружающие меня близкие люди в преддверии этой эры, отдав на возможную для них подготовку ее всю свою духовную энергию, самое завершение «великого акта» 19 февраля осталось в моих воспоминаниях в самых смутных и будничных очертаниях. Объясняется ли это тем, что само высшее

начальство, повидимому, считало необходимым, ввиду якобы государственных соображений, обставить опубликование этого акта возможной таинственностью и «скромностью», или тем, что мои близкие уже заранее изжили весь духовный подъем медовых месяцев «крестьянского освобождения» и формальное завершение его «манифестом» являлось для них лишь простой «юридической санкцией», значительной степени, кроме того, отравленной ядом сомнений, разочарований и жутких предчувствий… Так или иначе, но 15 марта, день официального опубликования у нас манифеста 19 февраля, остался в моих воспоминаниях совершенно бесцветным и будничным. Был, конечно, торжественный молебен в соборе в присутствии всего местного генералитета, был для него прочитан с амвона манифест, но… «народ», сам народ «отсутствовал» столь же блистательно, как в эпилоге «Бориса Годунова». О «народных же ликованиях» ниоткуда не доходило никаких и слухов. Царили, повидимому, сугубые провинциальные будни.

Из «официальных» проявлений, отметивших у нас «эру освобождения», у меня остались в памяти только два характерных факта. Один – это получение, кажется в марте же месяце, одновременно с манифестом, «Положения 19 февраля», которое в сотнях экземпляров было доставлено как в канцелярию дворянского собрания, так и в нашу библиотеку, где они буквально расхватывались заинтересованными лицами, так что я едва поспевал выдавать их покупателям. «Положение», как известно, было очень объемисто, в формате писчего листа, и в общей сложности, со всякими приложениями, не менее 20 печатных листов. Понятно, что «Положение» могло произвести должное впечатление на читателя только после довольно пристального и продолжительного штудирования его и не могло поэтому вызвать какого-либо единодушного эксцесса по поводу его появления; очень естественно, что и у меня в памяти не осталось ничего экстраординарного, что могло бы характеризовать отношение к нему наших обывателей. Очевидным было только то, что «крепостники» чем более вчитывались в него, тем все таинственнее о чем-то друг с другом переговаривались и торопились принимать какие-то противодействующие «меры»; в близких же к нам кругах «Положение» обсуждалось, так сказать, «постатейно» и постепенно, вызывая то общее одобрение, то очень скептическое отношение. Передавая об этом, я уверен, что читатель не заподозрит, что и я, юнец, участвовал в этом «постатейном» обсуждении, в котором я в описываемый момент еще очень немногое мог понимать, и, конечно, передаю только мое общее впечатление.

Другой характерный факт имел место несколько позднее. Был у меня приятель-гимназистик, тоже сын чиновника, с которым мы очень часто любили вместе

читать, беседовать по этому поводу и даже пробовали пописывать кое-что, особенно он, так как я пока еще относился к этому занятию индифферентно или по крайней мере боязливо, предпочитая секретно упражняться в писании стишков «по Кольцову» (которые мне тогда казались «самыми легкими»), и в то же время не стыдился еще списывать классные упражнения с тетрадок товарищей. Так вот, придя однажды к этому товарищу, я застал его за очень странным, если не сказать откровеннее, занятием. Перед НЕМ лежала стопка чистой почтовой бумаги, а рядом с ней другая, в которую он складывал уже каллиграфически написанные им какие-то письма, размером от 10 до 20 строк. Письма эти он копировал с десятка лежавших перед ним начерно набросанных чьей-то посторонней рукой различных образцов, а затем уже укладывал в стопки сообразно какому-то алфавитному списку. «Не хочешь ли помочь? – спросил он меня. – Ты ведь умеешь красиво и четко писать». – «Попробую. В чем дело?» – «А вот в чем: отцу заказано от начальства написать несколько сот благодарственных к царю-освободителю писем от имени крестьянских волостей по поводу манифеста девятнадцатого февраля… Ну, так понимаешь: очень просто – отец вот сочинил несколько образцов, а мне велел переписывать и, чтобы не все выходили уж очень одинаковы, поручил даже вносить и свои небольшие изменения или просто переставлять слова и фразы, только чтобы без смысла не вышло… Хочешь, так помогай. Отец обещал мне дать за это на книги… Только, чур, секрет!.. Никому ни слова… Это уж я только тебе… доверяю…» Дело предстояло во всех смыслах любопытное. «Попробуем!» – согласился я и с величайшим интересом стал вчитываться в образцы. Каждый из них заключал в себе первым делом заголовок: «От крестьян такой-то губернии, уезда и волости», затем обращение, на выразительность и строгую корректность которого обращалось особенное внимание и которое варьировалось в таком роде: «Всемилостивейший и великий государь-отец», или «Возлюбленный наш монарх, отец и покровитель», или в патриархальном тоне: «Батюшка царь!» и т. п. Дальше следовали уже самые верноподданнейшие излияния неизреченных благодарностей в стиле челобитных времен Алексея Михайловича. «Ну, вот тебе бумага, вот список волостей с буквы М… Качай!.. Если вздумаешь что написать по-другому – покажи мне», – сказал приятель, и мы весело принялись за дело, так как дозволение вносить свои вариации в текст образцов побуждало нас к некоему игривому творчеству, которое доставляло нам немало ребячески-школьнического развлечения. Проработав с час в помощь товарищу, я, уходя, спросил его: «Что ж, будут их крестьянам читать на сходах?» – «Ну, вот… еще канителиться!.. Прямо целой кипой отправят в Петербург – и шабаш!»

Было ли действительно поступлено так, как говорил приятель, наверное сказать не могу. Думаю, впрочем, что в этом случае приятель просто повторял то, что слышал от отца.

Так «сочинялась» у нас в провинции официальная история освобождения.

Доподлинная история между тем шла своим путем, отражаясь так или иначе в каждой маленькой ячейке обывательского существования и все больше и больше захватывая в свой хаотический круговорот мое юное существо.

Само по себе появление манифеста 19 февраля об освобождении крестьян, несмотря на его крупное историческое значение, не могло затрагивать нас, разночинную массу, с такой непосредственной жуткостью, как это касалось двух прямо заинтересованных сторон – помещичьей и крестьянской. Но в общей даже сугубо-крепостнической и чиновничьей атмосфере нашего городка как-то полусознательно чувствовалось, что за этим «крестьянским» освобождением скрывалось нечто еще более глубокое – какое-то иное, не только «крепостное», но общее, духовное освобождение человеческой личности вообще. Так смутно чувствовалось всеми, даже нами, школярами, хотя никто ясно не сознавал, в каких определенных формах это должно сказаться. Надо перенестись воображением за 50 лет назад, в глушь нашей провинции, чтобы достаточно оценить все серьезное значение тех элементарно-наивных форм, в которых сказывалось это новое настроение в постепенно «преображавшихся» людях.

Приближались летние каникулы, которые в последние три-четыре года были для нашей семьи, и прежде всего для меня, какими-то истинно духовными праздниками: приезд из столиц дядей, а вместе с ними и другой студенческой молодежи, съезжавшейся у нас на перепутье в свои уездные и деревенские Палестины, вносил столько неведомого, живого, освежающего и преображающего в заматерелые будни нашей провинциальной жизни. Чего стоило одно открытие библиотеки – этого моего «нового храма», в котором я с таким захватывающим усердием священнодействовал! Естественно, что в последнее время я стал ожидать этих каникул с особым напряженно смутным волнением, в предчувствии новых, еще не изведанных откровений и ощущений… И я не ошибся: нынешние каникулы принесли с собою «нечто», имевшее для меня лично некоторое как бы провиденциальное значение.

Еще стояли полупрозрачные сумерки позднего майского вечера, когда у нашего маленького трехоконного домика, немощеная дорога к которому наполовину

заросла травой, наполовину была устлана густой пылью, неслышно остановилась тройка лошадей, заложенная в громоздкий тарантас.

Когда, догадавшись по фырканью у окон усталых лошадей, в чем дело, я выбежал с криком: «Они! они!» навстречу долгожданным гостям, я был довольно строго остановлен тихим окриком дяди: «Ну, тише, тише! Не мешай!» И я увидал, как приехавший дядя вместе с двумя студентами-товарищами, бесшумно, как тени, двигавшимися вокруг тарантаса, развязав веревки, потащили что-то громоздкое, закутанное войлоком, тихо и осторожно внесли в дом и уложили бережно на пол нашей маленькой зальцы; за этим тюком последовало еще несколько таких же, и, только уложив их, приехавшие стали целоваться со мной и с несколько взволнованно смотревшим, как мне показалось, на привезенные тюки отцом.

– Ну, все благополучно? – спрашивал он шепотом.

– Прекрасно. Все цело! – так же отвечал ему дядя.

– В полном виде, должно быть, забрали?

– Все до нитки… – Хоть сейчас в дело.

– Ну, ну… Немножко поторопились… Ну, да ничего, авось…

– А что?..

– До сих пор нет еще разрешения… Впрочем, губернатор обещал наверное…

– Ну, чего ж еще! Вас не обманут, – единодушно утешали отца молодые гости.

– Ну, ну! – соглашался отец, приглашая гостей оставить деловые разговоры до утра и идти закусить и отдыхать с дороги. Но я не мог успокоиться: и этот неожиданный, таинственный громоздкий тюк и напряженный шепот вокруг него так заинтриговали меня, что я никак не хотел ждать до утра разъяснения дела, хотя уже догадывался, по доходившим до меня раньше намекам, что ожидался какой-то «станок» из Москвы.

– Ведь это «станок»? Да? Ну, дядя, скажите: «станок»? – приставал я, смутно понимая значение этого названия.

– Ну, хорошо: станок! И молчи… И чтобы у меня никому ни слова посторонним… Придет время – и ты узнаешь, и все будут знать… – строго сказал отец.

В этот раз на этом я и должен был успокоиться. Но зато утром я был вознагражден сторицею. Когда, проснувшись, я заглянул в зальце, в котором на полу вместе с тюками ночевала молодежь, я увидел, что все уже давно встали и хлопотливо возились около распакованных тюков, а посредине зальца стоял он, о котором так часто говорили намеками и по секрету в последний год в нашем интимном «интеллигентском» кружке, как о чем-то таком мистическом, достижение чего для наших обывателей было равносильно чуду. И вот это «чудо» теперь красовалось в нашем зальце.[1 - Все это «чудо» представляло собою лишь небольшой пресс, пригодный для оттиска набора в одну четверть среднего печатного листа.]

– Вы уже успели распаковать и все уставить? – изумленно спрашивал вошедший со мной отец. – Эх, рано, рано вы! – качал он сокрушенно головой… – Не надо бы пока распаковывать.

– Ну что вы! Чего в самом деле в прятки-то играть? Ведь уж не маленькие же ребята! – возражала довольная молодежь. – Вот, посмотрите-ка – какова штучка!.. Целый месяц охаживали его да осматривали в Москве… Все изучили… Хотите? Самолично напечатаем сейчас все, что угодно.

– Ну, ну! Не очень храбритесь! – говорил отец, видимо все же очень довольный появлением в нашем зальце этого «чуда», и с интересом вслушиваясь в объяснения молодежью самых мельчайших деталей.

– Вот теперь смотри! – говорил мне дядя. – Погоди, и тебя самого научим печатать.

– Все это хорошо, – говорил отец. – Только опять вас прошу: пожалуйста, до времени никому о нем ни слова.

Но осторожные предупреждения отца остались втуне. Уже к вечеру стали заходить кое-кто из интимных друзей нашей семьи, и, как будто случайно

заглядывая в маленький кабинет, куда все же по настоянию отца был передвинут и спрятан он, они изумленно-весело вскрикивали: «А! Приехала штучка-то?.. Пора, пора! Не все же из казенного горшка похлебку хлебать… Пора и свой заводить»[2 - Намек на казенную типографию, почти исключительно обслуживающую официальные «Губернские ведомости».]. И, хитро подмигивая, они весело потирали руки и похлопывали отца по плечу.

Через неделю, когда приехал дядя Александр из Р., в нашем зальце уже опять собрался наш интимный кружок, раньше принимавший такое деятельное участие в обсуждении крестьянского вопроса.

– Слышали, слышали! Привезли его?.. Да? – выкрикивал каждый, входя и особенно выразительно пожимая руку отцу. – Великолепно!.. Значит, начинаем? Пора, пора…

– Господа! надо повременить, – смущенно говорил отец. – В особенности надо избегать излишних разговоров об этом… Ведь нет еще разрешения… Мне говорят: «Вишь, чего захотели! Частную свободную типографию у нас, здесь!.. Э! Об этом надо подумать да подумать»…

– Вздор!.. Нечего на них обращать внимания… Не те времена!.. Пишите прямо в Петербург, – отвечали отцу. – А пока что – канитель тянуть нечего. Надо подготовляться энергично, чтобы с осени двинуть дело с своей газетой… Дело для нас новое, нас тоже не скоро раскачаешь…

– Начинать, начинать! Раз он здесь, с нами, наш собственный, значит дело в шляпе…

– Садитесь, господа… Будем вырабатывать программу, намечать сотрудников…

– Позвольте… Так нельзя, – возразил один из юмористов нашего кружка, почтенный толстяк из дворян, составивший себе в городе громкую известность мастерским чтением сатир Салтыкова-Щедрина. – Надо, господа, прежде всего окрестить нарождающееся детище… Все честь честью… Прошу приступить… А вот я, кстати, захватил с собой и проектец наименования, который у меня уже давно был обдуман… Прошу внимания и оценки.

И наш юморист, вынув из бокового кармана сложенный лист, тщательно развернул его на столе: это была заглавная виньетка.

– Прежде всего, господа, должен вас предварить, что это вовсе не плод моего юмористического легкомыслия. Напротив, здесь все строго взвешено и обдумано, со всех точек зрения: государственно-исторической, культурной, экономической и прочее… Известно ли вам, господа, что уездные гербы нашей губернии представляют собою некое эмблематическое изображение тех культурно-духовных приобретений, на вящее усовершенствование которых наш русский народ с усердием, достойным лучшей участи, потратил ни много ни мало – тысячу лет? Взять эти эмблемы в основу имени нового нашего органа показалось мне идеей поистине блестящей… Прошу взглянуть… Не находите ли – как, можно сказать, гениально-удачно удалось мне скомбинировать, например, хотя бы букву В из муромских калачей и вязниковского вяза?.. Или, например, букву И из переяславских селедок?..

– Браво, браво!.. Бесподобно! – закричала молодежь, разразившись веселым смехом. – Более удачное начало трудно придумать…

– Эх, господа, – вскричал мой экспансивный дядя Александр, – черт возьми, как у вас здесь стало бодро, весело, хорошо!.. Брошу я р-скую гимназию и переберусь к вам… Ей-Богу!.. Там теперь ничего не выходит… Пробовали было хотя бы у казенного станка неофициальный отдел в свои руки забрать: не дают! Ей-Богу, к вам сбегу.

– Ура! Нашего полку прибыло!

– Да я что – пустяки… А вот, господа, я для нашего здешнего дела заручился обещанием настоящего, заправского литератора… Только это пока секрет…

– Говори же по секрету: кого?

– «Бова»[3 - Добролюбов, писавший под псевдонимом – бов.]

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Все это «чудо» представляло собою лишь небольшой пресс, пригодный для оттиска набора в одну четверть среднего печатного листа.

2

Намек на казенную типографию, почти исключительно обслуживающую официальные «Губернские ведомости».

3

Добролюбов, писавший под псевдонимом – бов.

Купить: https://tellnovel.com/zlatovratskiy_nikolay/yunye-gody

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити